наши публикации

Встречи с Шаляпиным

Характер

МНОГО я скитался по свету. И не раз я видел весну в других странах. Но такой весны, как у нас в России,— я нигде не видал.

Москва. Я смотрю в окно моей мастерской и мне в окно видна разлившаяся Москва-река. Чудно и торжественно. На берегу стоит Кремль — соборы, башни, как будто бы какая-то давняя дивная сказка. За Кремлем гаснет розовая заря. Галки носятся в вечернем небе, то стаями поднимаясь кверху...

Потемнело в моей мастерской. А в окнах еще лежит свет зари вечерней. Как-то отрадно и грустно мне, и я думаю—пойду по берегу к Бабьегородской плотине на Москва-реку. На окраине Москвы деревянные дома, с одинаковым рядом окон. У ворот на лавочках сидят обитатели, женщины в ситцевых платках, какой-то телеграфист, мужики с дровяного склада. Все лущат подсолнух, смотрят вдаль на Москва-реку. А вдали церковь, какое-то казенное здание, институт или богадельня, а перед набережной ряд тумб. Проезжает извозчик, похлестывая убогую лошаденку, сидит какая-то женщина, везет клетку с канарейкой. И опять пустая улица. Городовой с книжкой ведет какого-то оборванца. И все как-то просто. И во всем, в природе и людях, чувствуется щемящая радость.

* * *

В Москве, на Балчуге, у Каменного моста, я лежал больной тифом в моей мастерской.

...Однажды утром пришел ко мне Шаляпин. Разделся в передней и, подойдя ко мне, сказал:

— Ты сильно болел — мне говорили. Что же это с тобой? Похудел, одни кости.

Шаляпин сел около меня рядом, у столика:

— Видишь ли, я пришел к тебе посоветоваться. Я ухожу из Императорских театров. Дело в том, что против меня бойкот всех дирижеров. Обиделись все. Они же ничего не понимают. Я им говорю: «Может быть, вы лучше меня, лучше любите ваших жен, детей, но дирижеры вы никакие, а просто...» Представь, все обиделись. И я не пою. А потому ухожу из театра. Я же могу всегда получать больше, чем мне платят. Где хочешь, за границей, в Америке. Я же пою для народа. Ты знаешь, твой Теляковский закатил мне в контракте какую неустойку — двести тысяч! Ты как думаешь, он возьмет?

— Что такое,— ответил я,— «возьмет Теляковский»... Теляковский ничего не может взять и не может отдать. На это есть Государственный контроль, который возьмет, конечно.

— Ну я так и знал — в этой стране жить нельзя. Я поехал к тебе, а сам послал, чтоб приехали ко мне адвокаты — Шереметевский, Федор Никифоров Плевако, Семен Шубинский и еще, как его, черт... Ну все равно.

В это время вошла горничная и на подносе принесла чай. Поставила на стол. Шаляпин взглянул на горничную и сказал:

— Как вас зовут?

— Фрося,— ответила горничная робко.

— Фрося, какой у вас хорошенький носик! Отчего это? — спросил Ф. И.

— Ведь вот, господи,— сказала Фрося,— ежели бы... Никогда, Федор Иваныч, не слыхала вас. Господи, я ведь сама пою, на гитаре играю.

— Да неужели, Фрося! Где же вы это поете?

— Вот у меня в людской комнатке.

— Я приду к вам, Фрося. Принесите мне еще чаю, дорогая.

Когда Фрося вышла, Ф. И. серьезно сказал мне:

— Понимаешь ли, какая штука, в чем дело, я не понимаю... Эта же Фрося, черт знает, до чего мне нравится. Ты знаешь, я же недавно был у Л. Н. Толстого. Он меня позвал к себе. Я ему говорю, что вы же мудрый человек, Л. Н., вот скажите мне, пожалуйста,— надо познать себя, а я же не могу познать. В чем дело? Вот, понимаете ли, женщины... Вообще, женщины, которых встречаешь. Мне все равно, но какая-нибудь мне сразу нравится, и я ничего не могу с собой поделать. Что это? Значит, я не моральный человек. А он мне отвечает: «Я в обсуждение таких вопросов входить не могу. Вы читали «Крейцерову сонату»?» А я, понимаешь ли, не читал и говорю ему — нет, еще не читал... «Так я вам дам свои книги». Принесли много книг, завязывали бечевкой, и Л. Н. велел поставить связки в коридоре, чтоб, когда я буду уходить, захватил, и сказал: «Это мой вам подарок». Понимаешь, какая ерунда вышла, когда я уехал, книги-то взять забыл.

Фрося принесла чай.

Выпив наскоро чай, Ф. И. вышел с Фросей.

...Был вечер, приближалась ночь.

Пришла сестра милосердия. Смотрела, что прописал доктор. Зажгла зеленую лампочку. Смотрела температуру за день.

Я уже стал засыпать.

Вдруг отворилась дверь и вошел Шаляпин.

— Откуда ты? — удивился я.

— Понимаешь ли, я у Фроси все сидел в ее комнатке людской. Она там пела. Я ей написал, чтоб давали ей билеты в театр. Замечательная Фрося.

— Скажи, а как же адвокаты?

— Ах ты, черт,— схватил себя за голову Шаляпин,— что же это я наделал! Что же ты мне не сказал. Это же вышло бог знает что. Что теперь им сказать? Они же озлятся. Я поеду к Семену, он все уладит.

И Шаляпин ушел.

—...Я иногда удивляюсь и думаю, как это случилось — пою в театре, пою — артист, аплодисменты. Я, знаешь ли, телеграфистом быть хотел. Прогнали. У сапожника был — прогнали. Хористом был, на выходах — тоже ругали, гнали. «Характер,— говорили,— у него скверный». А вот ты скажи: кто собак учил лаять? На чужих лают. Она тебя предупреждает, тебя любит. И сама выучилась.

Когда я спросил Горького про собаку — он обиделся. «Собака,— говорит,— защищает того, кто ее кормит. Это буржуазное животное». Вот ты и возьми.

Он говорил, что собака защищать будет эксплуататора и кулака. Странно ведь это. Собака ведь любит человека и, конечно, не знает, что он кулак или жулик. «Они не любят, кто беден или плохо одет»,—говорил Горький. Я тоже терпеть не могу, кто плохо одет. Я видел в Берлине собаку, которая вела слепого нищего. А Алексей Максимович иногда завирается. Я его как-то не пойму. Вообще я тоже не все понимаю в жизни. Надо деньги нажить. Деньги ведь это свобода. С ними меньше унижения и вообще всякой гадости. Ты знаешь ли, люди-то, когда они кого замучают, то делают после его святым. Меня не придется, я у них в святые не попаду...

Шаляпин умер.

Милый Федя, да будет тебе легка тайна вечности неведомого нами мира.

Константин КОРОВИН.

Париж. 10 августа 1938 года.

Константин КОРОВИН

ТАЙНА ВЕЧНОСТИ НЕВЕДОМОГО НАМИ МИРА

Творчество известнейшего русского живописца Константина Алексеевича Коровина, пейзажиста, театрального художника, хорошо известно читателям. Он был еще и замечательным педагогом и преподавателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества (в советское время — Свободных государственных художественных мастерских). Среди его учеников — Павел Кузнецов, Б. Кустодиев, Н. Сапунов, К. Юон и другие.

В 1923 году Коровин уезжает из России. Поводом послужили организация выставки его работ в Париже и болезнь сына. Он уехал с советским паспортом. «Там», на Западе, надо было уметь себя рекламировать, Константин Алексеевич делать этого не мог и не хотел. Затем наступила болезнь. Живопись не кормила. В Россию не звали. А он тосковал по России. И тогда... художник обращается к перу литератора. 13 июля 1929 года в парижской газете «Россия и славянство» Коровин помещает свой первый «профессиональный» очерк — «Из моих встреч с А. П. Чеховым». Затем следуют воспоминания о выдающихся русских живописцах — Врубеле, Головине... С 1930 по 1939 год он печатает свои литературные опыты в газете «Возрождение», в журналах «Иллюстрированная Россия», «Сверчок» и в других изданиях. В рассказе «Встреча» Коровин писал с грустью и теплом: «Странно, я видел много стран. И нигде нет такого отрадно-печального чувства, необычайного замана, глубокой красоты, мечты тревожной, как в весеннем вечере России... И все как-то просто. И во всем, в природе и людях, чувствуется щемящая радость...».

...12 апреля 1938 года умирает Ф. И. Шаляпин. Передо мной последняя страница рукописи Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», на ней дата: 10 августа 1938 года (ЦГАЛИ СССР, ф. 2789, оп. 1, ед. хр. 182). Автор все-таки успел подержать свою книгу в руках: она вышла в Париже в следующем году. Константина Алексеевича же похоронили в середине сентября 1939 года на кладбище Бийанкур. В автографе рукописи Коровина есть значительные расхождения с книгой: воспоминания Шаляпина о встрече с Л. Н. Толстым, рассказ «Медиум»... Интересно, что в книге Ф. Шаляпина «Маска и душа» тоже повествуется о посещении Л. Н. Толстого, но в рукописи Коровина — неизвестные факты о той встрече.

Сегодня мы знакомим читателей с этими фрагментами из литературного наследия художника, а также с рассказом «Выдра», опубликованным только в парижской «Иллюстрированной России» (в 1934 году).

Его рассказы документальны. Их герои — отнюдь не вымышленные персонажи, а люди, составившие гордость русской культуры. Взгляд живописца и наблюдательность писателя как бы дополняют друг друга.

И. ХАБАРОВ.

Медиум

ПОМНЮ, как однажды вечером, после обеда, когда серп месяца показался в окне моей большой деревенской мастерской в Ратухине, приятели мои расположились на длинных тахтах.

Архитектор Мазырин рассказывал о спиритических сеансах в Москве.

Оказалось, что он спирит.

— Сидим за столом,— говорил он,— в темной комнате, окна завешены, никакого света. Стол начинает потрескивать. Смотрю, из пальцев моих рук, которые держу на столе, поблескивают искры. Потом у другого. Прямо выскакивает огонь. Стол подымается на воздух. А гитара стояла в углу. Вдруг поднялась и полетела по воздуху и над моей головой — трын-брын, трын-брын. Потом опять стала в угол.

Шаляпин, лежавший на тахте, сел и, посмотрев на Мазырина, сказал:

— Трын-брын, трын-брын... Ведь это же черт знает, что такое. Прямо над твоей головой трын-брын. Вот ведь какие штуки. Антон,— сказал он Серову,— ты слышишь! Анчутка-то, оказывается, спирит?

— Да,— сказал Серов,— я-то не верю, полетела гитара, трын-брын. Это же странно.

— Врешь ты, Анчутка,— сказал Шаляпин.

— Хотите верьте, хотите нет, мне все равно,— сказал с презрением Мазырин.

Сидевший у меня деревенский охотник, мой приятель, Герасим Дементьевич, заметил:

— Верьте — не верьте, а бывает этакое-то. Вот здесь недалече, в лесу, есть курган. Старинный курган, высокий. Говорят, там в старину князь схоронен. Воевода, значит. И говорили, что он был колдун. Так вот, я не раз, когда ночью проходил мимо его поодаль, так всегда у него огонь горит, и многие это знают. Опасаются ходить. Шел я однова ночью, как меня сзади за плечи кто-то ухватит, да за горло. Я, батюшки, насилу вырвался, да бегом. Вот задохся. На Никольское поле выбежал. А за мной-то огонь бежал. Ну, отстал. Теперь полно ходить у кургана, больше не хожу, опасно.

Я вышел на кухню и говорю слуге своему Василию Белову и Барченкову.

— Вот что, Василий, вот тебе банка, видишь, сухой спирт. Знаешь, мы его берем на ночную рыбную ловлю, спичкой зажигаем? А тебе, Барченков, вот простыня. Слушай. Вы сейчас идите прямо от дачи по дорожке, что вправо в лес к кургану. Знаешь?

— Знаю,— ответил Барченков.

— Ну значит, там, в лесу, ты встанешь и, когда услышишь, что мы идем по дорожке, простыню вытяни и подними над собой. А ты, Василий, сядь перед ним и зажги спирт, а от нас закрой. Спирт-то осветит простыню. Она будет светиться синим светом. Понял? Это Шаляпина пугать будем.

— Ладно,— сказал Василий смеясь,— чего это не надумаете.

Вернулся к приятелям и говорю:

— Интересно посмотреть на курган ночью теперь. Какой огонь там ходит.

— А что ж, пойдем, правда,— сказал Серов.

Мазырин оживился.

Приятели мои пошли все.

Дорогой я каждому сказал на ухо, что будет видение.

— Вы, когда увидите, говорите, что не видите, потому что одному Мазырину я ничего не сказал.

Приятели собрались, взяли палки, хотели взять ружье, но я отговорил.

— Анчутка, ты иди вперед,— сказал я Мазырину,— ты медиум.

— Что ж, я с удовольствием.

Шли темной ночью в лесу по дорожке. Вдруг Мазырин остановился и сказал:

— Смотрите, смотрите, вон, вон, огонь!.. Материализация, материализация духа...

— Где? Что ты, черт, болтаешь? Где материализация? — спросил Шаляпин.

Невдалеке, справа от дорожки, в лесу мелькало, через листья кустов, высокое голубое привидение. И немного колебалось. Мазырин был вне себя.

— Смотрите, какое явление!..

Но никто не видал, только он один.

— Давайте руки, сомкнемся в круг, это материализация духа...

— Постой,— сказал Шаляпин и, как бы увидав привидение, пошел прямо на него.

— Не ходи, не ходи,— кричал Мазырин,— умоляю, не ходи! Погибнешь!..

Но Шаляпин шел.

Подойдя близко к привидению — он упал навзничь. Упал так, как он умел падать на сцене.

Я закричал:

— Ай! — и сразу потухло привидение.

— Идемте, спасем его,— сказал я.— Что же ты не идешь? — крикнул я Мазырину.— Иди, ведь это твои спиритические штуки.

Мы поднимали Шаляпина...

Около него то с одной, то с другой стороны забегал маленький Мазырин и говорил:

— Не бойся, не бойся, хорошо, что жив, ведь это материализация.

— Да ты что? — остановился Шаляпин.— В чем дело?

— Ведь он мог тебя погубить, мог задушить тебя.

— Кто он? Да что ты? Я ничего не видал.

— Смотрите, смотрите, ведь он ничего не помнит,— говорил нам Анчутка, весь дрожа.

Когда пришли домой, Шаляпин сел за стол. С одной и с другой стороны шеи, у горла были ясно видны красные пятна. Это он нарочно себе нащипал. Каждому из нас, подходя, говорил на ухо Анчутка:

— Видите, как его материализованный дух душил. Посмотрите на горло, пятна какие!..

Мазырин был вне себя. Забрал свой чемодан и, ни с кем не простясь, ушел на станцию и уехал в Москву.

Через день принесли газеты.

В «Русском Слове» было написано — «Видение Шаляпина», «Материализация духа», который его почти задушил, но известный архитектор Мазырин спас его.

В других газетах—«Шаляпин медиум». И в «Русских ведомостях».

Шаляпин хохотал.

Когда мы приехали в Москву, ко мне заявился некто Гиляровский за интервью.

Я ему рассказал про сухой спирт, про простыню, про Барченкова, который так все ловко исполнил.

Появились опять заметки.

Мазырин ко мне не шел.

Вышла небольшая книга «Шаляпин медиум» и разошлась в один день.

Мазырин ругал меня, всем говорил:

— Что он наделал? А я послал депеши в общества спиритов в Швецию, Англию. Уже многие поехали увидать материализацию духа. Что он наделал! Никаких спиртовок не было. Ведь на горле Шаляпина были красные пятна. Видно было, что его душил дух...

Выдра

Охотничий рассказ

ВСЯКИЙ знает, что лето лучше зимы. Охота летом хороша, но и зимой тоже занятна. Особенно хорошо зимой, когда друзья-охотники приезжают в гости. Охота бывает и неудачна, холодно, морозы, уши мерзнут, но зато вечера в теплом доме в деревне хороши. Горит лампа, теплится камин, рассказы друзей... Живу я в глухом месте, далеко от Москвы, станция далеко, кругом леса; мой деревянный дом стоит на горке у леса, а внизу река, небольшая. За рекой огромный лес тянется на сто верст больше. Селенья редки. Попадаются деревеньки небольшие, дворов шесть. Деревенская соседка моя, тетушка Афросинья, хорошо варит брагу, пенистую. А муж ее, Феоктист, на речке сделал во льду прорубку воду брать. Хороша вода в реке Нерли, вкусная. А в колодце хуже.

И сказала мне Афросинья, что пошла поутру на прорубь воду брать, утром рано, и вот видит она, что у прорубки лежит эдакий зверина, морда кошачья, усищи, сам гладкий, лапы как у гуся, а хвост рыбий.

— Вот поболе собаки вашей.

Он увидал ее, да в прорубку — прысь... и ушел. И у ней ноги подкосились.

— Глазищи у его, как у кошки!

— Тебе показалось, тетушка Афросинья,— говорю я.— Откуда зверь такой возьмется?

— Нет,— говорит Афросинья,— видала, ей-ей. Феоктист-то говорит, не иначе, что это выдра.

Афросинья была женщина серьезная. Врать не станет, думаю я. Не какая-нибудь потрясучая, говорил мне дедушка, «а мужнина жена».

Я сижу в деревне один, скучно. Пишу картины с натуры; зиму. Холодно, руки мерзнут. Пошлю, думаю, телеграмму охотникам-друзьям. Пишу: «Выезжайте скорей, выдра, одиннадцать часов». Телеграммы ведь сокращенно пишут. А сам пошел смотреть на реку, к прорубке. Снегу много. К той стороне речки, где густой лес весь в хлопьях снега, к бережку большая прорубь. Вижу, действительно следы на снегу у прорубки и у елей. Лапы большие с перепонками и снег сбит полосами, как будто кто ползал, и чешуя рыбья поблескивает. Афросинья говорит мне:

— Если это что ни что водяной ежели, а то зверина страшенный?..

— Ленька,— кричу я слуге своему.

Ленька приходит заспанный.

— Ну, что ты, опять спал? — говорю я.

— Да ведь скучно,— говорит Ленька.— Делать нечего.

— Скучно... А вот палитру опять не вычистил. Слышал, зверина в проруби живет у нас тут, у леса?

— Да, слышал. Афросинья говорила. Феоктист-то прорубь большой пробил на бочаге у леса. Он говорит, нарочно, говорит, большой, пускай, говорит, когда Василь Сергеевич приедет, налимов тут ловить будем. Там есть налимы, говорит.

— А если это враки... ей показалось? Может, быть, кошка была?

— Нет, Афросинья врать не будет. Может, это бобер?

— Какой бобер? Бобров ведь тут нету.

— Дедушка говорит, что бобры раньше были, недалеко здесь, у Иванова озера, камчатские.

— Пошлю телеграмму.

Приписал: «бобры»...

— Отвези,— говорю Леньке,— с Павлом на станцию. Вот телеграмма.

В МОСКВЕ получил телеграмму приятель мой Павел Александрович Сучков. Поехал к гофмейстеру, тоже охотнику. Тот прочел телеграмму, рассердился ужасно, сказал:

— Какая ерунда! Какой у него в голове вздор, и всегда это у него. Выдра, бобры одиннадцать пудов. Вздор!

Телеграфист, должно быть, перепутал. Вместо слова «часов» написал «пудов». Павел Александрович задумался: «Если окажется, что это пошлая шутка, то я больше с ним не знаком. Но все же, вероятно, если не бобры, то выдра».

Сам думаю: «Странный зверь. Приедут гости-охотники, чего бы доброго не убили бы этого зверя. Живет, бедняга, зимой в воде, снег кругом, холодище, живет тут недалеко, рядом со мной, и вот я же послал убивать его... Ничего он мне дурного не сделал... Наверное, красивый, милый зверь... Нет, я не дам его убивать...»

— Не нерпа ли это? — говорит мне дедушка.— Та-то невелика, а этот-то зверина большенный,— Афросинья говорит. Знать, выдра. Злющие они, выдры-то.

Сидим с дедушкой на кухне. Афросинья готовится к приезду гостей, разводит тесто для блинов. Ленька пошел за щучьей икрой, которую называет почему-то сиговой.

Дома у меня тепло. В комнате сторожа, рядом с кухней, спит здоровый, толстый баран с густой черной шерстью, закручены большие рога, глаза белые. Домашний приятель баран. Глуп невероятно. Ест баранки сколько угодно и умеет только бодаться: думает, что это очень хорошо. Пойнтер Феб любит барана, лежит у него под животом, спит—от барана тепло.

Вечером пришел ко мне охотник, крестьянин Герасим Дементьевич. Я был рад, рассказал про зверя.

— Выдра...— сказал Герасим.

— Охотники,— говорю,— приедут из Москвы, Павел Александрович и другие.

— Ничто,— говорит Герасим.— Только выдра чутка больно. Ружье чует. Зря бьют. Куда ее?

— Герасим,— говорю я,— не надо ее убивать. Зачем? Пускай живет тут. Она, должно быть, красивая.

— Какая красивая... Да что вы, Кинстинтин Лисеич. У ней морда — глядеть невозможно: морщенная. Да баб-то злющих недаром народ выдрой зовет.

— Да теперь ее боле не увидишь,— говорит дед.— Афросинья ходила по воду вечор, а там бабы с вальками пришли, белье полощут. Вот что.

— Значит, приедут друзья мои — скажут, что я их обманул. Хотел показать им. А теперь ее напугали, полощут белье.

— Погоди, Лисеич, я ее покажу им. Я знаю. Попугаю из лесу, у берега нора есть, рыбки побросаю. Она пониже на быстрине живет, где река не мерзнет. А в проруб ке — это она охотилась, за рыбой лазила.

...Масленица. Мы уже в заботе о приезде гостей-охотников. Достали что возможно: и щучьей икры к блинам. Ничего нет лучше угощать приятелей-друзей. Хлопотали до поздней ночи. Разбудили меня утром. Слышу на кухне разговор. Приехали охотники. Я встал. Входят. Трут руки... Смотрят все на меня... Павел Александрович, подняв руку, сказал:

— Если это твои шутки и все ерунда — телеграмма тоже,— то мы не позволим: довольно пошлостей, шуток твоих! А если,—говорил он, выпучив глаза и подняв черные брови до причесанных гладко волос,— если выдра есть, то здравствуй!

И он подошел, обняв, расцеловался со мной— и все другие.

От гостей попахивало коньячком. Все были веселы. Блины, разговоры. Говорили про бобров, нерп, росомах. Угощали тетку Афросинью, Феоктиста, Герасима, дедушку, Леньку. Решили вечером идти убивать выдру. Гофмейстер, Павел Александрович и их приятель, Хренов, страстный охотник, все легли спать. Василий Сергеевич серьезно и задумчиво что-то мастерил. Шушукался с Феоктистом на кухне.

— Уберите,— кричал,— барана. Этот болван ничего не дает делать, бодается. Тоже завел дурака себе. Его бы пора на плиту. Не я твой хозяин,— говорил он барану,— а то бы давно на котлеты пошел. Уберите его к черту!..

Барана привязали на веревку.

— Никому не говорите,— тихо сказал мне Кузнецов.— Я ее на крючок поймаю раньше их. Поняли?

И он мне показал огромный крючок, на котором сидела рыбина, и, взяв ружье, пошел с Феоктистом на реку. Феоктист почему-то захватил вилы.

Охотники ждали вечера, так как Герасим сказал, что выдра выходит чуть свет или ночью. Охотники снаряжали патроны картечью и пулями и были все серьезны и со мной деловиты. Шуток не было. Герасим ушел, сказав:

— Вернусь к вечеру.

Сумерело. Пришел Герасим и говорит:

— Рано еще...

Охотники дожидались, сидели молча, говорили как-то о постороннем. Я спросил: правда ли говорят, что Родзянко — охотник? Мне ничего не ответили. Изредка один-другой из гостей, встав, подходил к столу и деловито выпивал рюмку коньяку и опять садился и молчал.

— Пора,— сказал Герасим.

Охотники оделись, взяли ружья. Когда вышли на крыльцо, Герасим сказал шепотом:

— Потише. Курить нельзя.

Шли глубокими сугробами. Ноги в валенках уходили по колено в снег. Подходя к речке, Герасим тихо, по одному, рассадил всех в кустах берега, по елям, и ушел.

...Лес угрюмо дремлет. Спускается ночь. Юпитер блестит на небесах, сияя над лесом. Тишина. Медленно идет время. Темнеет. Из проруби лезет зверь, ужасный. На морде усы и на спине щетина, длинный хвост. Быстро ползет к бугру. Открылась канонада. Я даже не стрелял, так удивлен. Невероятно, невиданно. Чудовище! Зверь быстро полез вверх на бугор и пропал в кустах за елями. Герасим выходит к проруби. Идет по следу. Подходят охотники. Смотрят.

— Ранен,— говорит Герасим.

Зажигает спичку: на снегу пятна крови. Герасим берет снег — в нем кровь. Мне как-то тяжело: ранили зверя.

— Не уйдет далеко,— кричат охотники.

— Завтра утром найдем,— говорит Герасим.

— Ну и зверина,— удивляются охотники.

Василий Сергеевич тянет шнурок из проруби, вытаращив глаза, и выбрасывает на снег большого налима.

— Какой восторг! — говорит гофмейстер.— Всюду звери!..

— Спасибо,— говорит мне Павел Александрович и жмет руку.— Ага, это класс... Какой черт. А? Я его пулей раз-раз. Не уйдешь,— крикнул он, посмотрев на лес.

Охотники были веселы и довольны: уха из налима! Хренов говорил, что точь такого убил в Сызрани на реке, только хвост поменьше.

— Там называется по-другому, не выдра. Ее не едят, рыбой пахнет.

— Прекрасный будет ковер из нее,— говорил гофмейстер.

Все были веселы. Хренову велели выпить со мной на «ты». Павел Сучков говорил про меня, что я охотник и понимаю.

— Но только разные шутки его — ерунда. Но какая вещь? А? Лезет прямо из воды. Понимаете. А? Я в первый раз вижу эту выдру.

— Поискать бы след, да темно,— говорит Герасим.—Месяц на ущербе да тучи находят.

Угощали Афросинью, Феоктиста, Герасима.

— Наслаждение,— говорил гофмейстер.— Обстановка и все — поэзия! Напиши же, пожалуйста, эту картину,— сказал он мне.

Утром встали рано. Но за ночь пала пороша: потеряли след. Пошли искать зверя. Сделали загон. Убили шесть зайцев, но зверя нет. В удивлении рассказывал гофмейстер, что тетерев вылетел у него из-под лыж из снегу. От неожиданности он пропуделял, но зато застрелил двух зайцев. Убили глухаря и тетеревов. А Вася застрелил лисицу.

— Черно-бурую...— говорил он.

— Не черно-бурая.— отвечали ему.

— Как не черно-бурая?.. А спина-то—смотрите — темная.

Герасим был героем. Его задарили и подпоили. Масленица... Блины ели. Вся деревня пила вино. И Феб, баран — все ели блины.

Зверь ушел, но ничего. Вася наловил налимов. Дичь и рыбу завертывали в рогожные кульки. Герасим сказал мне:

— А богат, знать, генерал-то. Смотри-ка, отвалил мне 25 рублей!

Все уехали в Москву довольные охотой.

РАННЕЙ весной я с холстом, красками, мольбертом в большом лесу за речкой выбрал место писать картину. Солнце... Весна... Зеленые ели и мутные кусты ольхи. А за ними светлый разлив реки, и кое-где, в ложбинках, горит ярко-белый снег, залитый весенним солнцем. Синие тени. Какая жизнь, какая красота! Я быстро кладу краски на холст светлых пятен и голубых теней и вижу в кусту недалеко что-то лежит длинное, темное... Подошел. Вижу: длинный холщовый мешок набит соломой. Впереди где шире, вставлены ровные прутья с двух сторон.

— Ах ты... Да ведь это зверь-выдра! Ах Герасим!..

Говорю Герасиму при встрече:

— Ну и плут ты!..

И оба смеемся.

— Как же это ты сделал-то... Кровь ведь была?

— Да,— отвечает Герасим.— Курья кровь-то... Я пузырек взял. А то не поверят. Масленица... Скучные бы стали. А то каждый думал: я попал. Коврик уж готовили... Пущай... Охота — зверь! — Весело.

— Как же ты это приспособил?

— В сарае шил, с Ленькой работали. Я тянул—бечевку у вас взял... долгую, что через реку ставили рыбу ловить с лодки.

Нет уж больше моих друзей-охотников, и не знали они, что их обманул Герасим, и в обмане его они радовались, что видели выдру, и впечатления от охоты унесли в вечность.